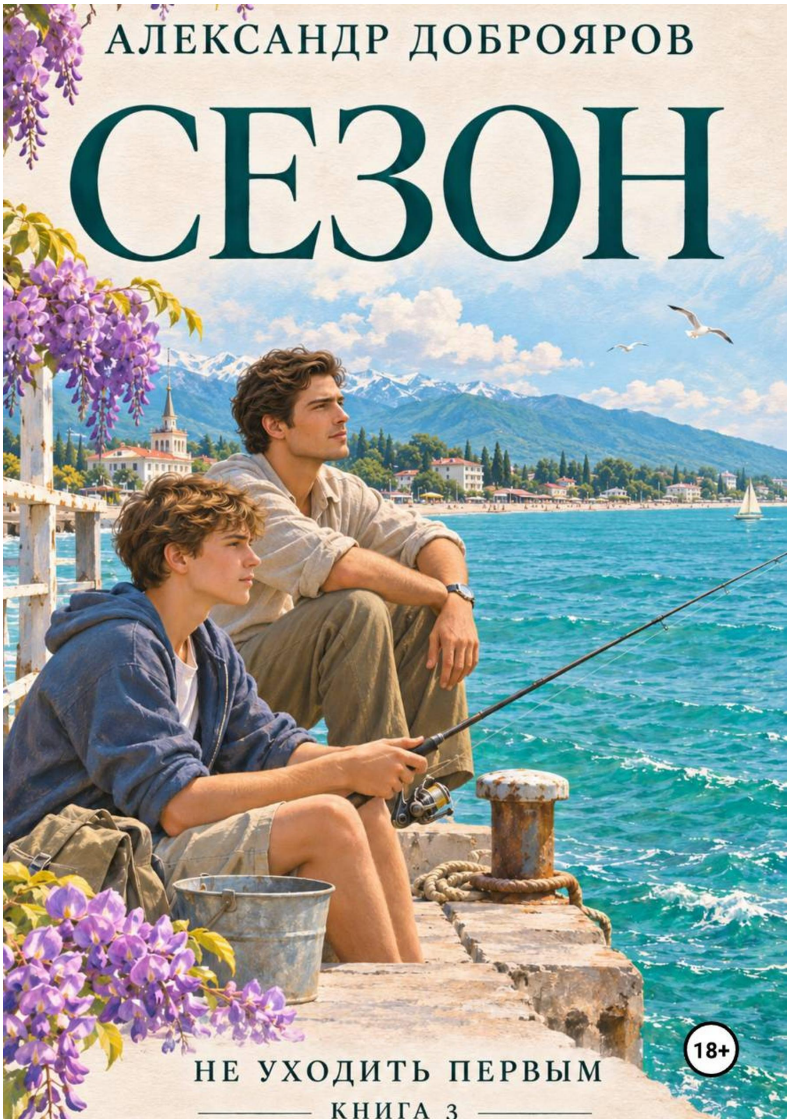
АЛЕКСАНДР ДОБРОЯРОВ

СЕЗОН



18+

НЕ УХОДИТЬ ПЕРВЫМ

КНИГА 3

Александр Доброяров
Сезон

https://litres.ru/74758223
SelfPub; 2026

Аннотация

Макс приезжает в Адлер со ста долларами, одноглазым котом, мангалом и удочкой. Позади — Москва, разрушенное доверие и жизнь, которую больше нельзя продолжать. Впереди — море, работа на пляже и первая трезвая зима.

Вдова рыбака сдаёт ему комнату. Бывший клоун учит ждать поклёвку. Хозяин пляжа предлагает дело. Постепенно у Макса появляется привычная жизнь, но она оказывается хрупкой: случайная встреча в сочинском парке возвращает прошлое, а письмо мальчика из детского дома напоминает о старом обещании.

Сезоны меняются. Чтобы сохранить близких, Максу придётся научиться возвращаться и приходить вовремя. Третья книга цикла «Не уходить первым».

Содержание

Часть первая. Мол 4
Глава 1. Адлер 4
Глава 2. Кефаль 15
Глава 3. Пляж Гурама 27
Глава 4. Письмо из Ростова 37
Глава 5. Подвал 46
Глава 6. Новый год у Деспины 62
Глава 7. Красная Поляна 72
Конец ознакомительного фрагмента. 75

Александр Доброяров
Сезон

Часть первая. Мол

Глава 1. Адлер

В Адлере поезд стоит двенадцать минут. Это последняя станция. Дальше — граница. Дальше — Абхазия, море и горы, которые уходят в небо так круто, будто кто-то их поставил вертикально и забыл положить.

Я вышел на перрон первого сентября две тысячи четвёртого года в одиннадцать утра. С рюкзаком. С коробкой, перевязанной бечёвкой. С удочкой в коричневой бумаге. С переноской, из которой торчала серая одноглазая морда.

И остановился.

Потому что на меня обрушился воздух.

Я не знаю, как ещё это описать. В Москве воздух был серый, плотный, пах бензином и пылью. В Ростове — степью, рыбой и рынком. А здесь — здесь воздух был влажный, тёплый, тяжёлый, как мокрое полотенце. И пах сразу всем: морем, солью, водорослями, эвкалиптом, хвоей, магнолиями, жареной кукурузой, шашлыком, дизелем, гниющими перси-

ками и чем-то сладким, цветочным, чему я не знал названия.

Я стоял на перроне и дышал. Как будто три года не дышал. Как Фёдор Ильич, когда вылез из подлодки на палубу.

Маршал в переноске чихнул.

У вокзала стояли таксисты. Десяток. Все одинаковые — смуглые, в спортивных штанах, с золотыми зубами, с ключами на пальце. Они кричали: «Такси! Такси! Сочи, Хоста, Красная Поляна, Гагра! Дёшево!» И хватали приезжих за чемоданы.

Я прошёл мимо них. У меня было сто долларов. На такси — не на что.

За вокзалом начинался рынок. Маленький, пёстрый, шумный. Как Центральный в Ростове, только меньше и ярче. Персики, инжир, хурма, мандарины — ещё зелёные. Чурчхела на верёвках, как бусы. Аджика в банках. Сыр сулугуни, копчёный, косичками. Мёд. Вино в пластиковых бутылках из-под «Колы» — домашнее, «Изабелла», красное, как кровь.

Я посмотрел на вино. Долго.

Потом отвернулся.

Четырнадцатый день.

Жильё я искал три часа.

В Адлере в сентябре сдавали всё. Комнаты, сараи, веранды, гаражи, курятники, переделанные в «номера». На каж-

дом заборе висела табличка: «Сдаю комнату. Рядом море». На каждом углу стояли бабки с картонками: «Жильё у моря, недорого».

Но всё было дорого. Сентябрь — бархатный сезон. Москвичи приезжают с детьми, у которых каникулы кончились, но родители решили, что школа подождёт. Комнату у моря за сто долларов в месяц не сдавал никто. За сто долларов в неделю — может быть. За сто в сутки — легко.

К трём часам дня я дошёл до самого конца Адлера. Туда, где кончались санатории, кончались кафе, кончались пляжи с лежаками. Где начинался старый рыбацкий посёлок — низкие домики за заборами из ракушечника, виноградники, сети на кольях, перевёрнутые лодки во дворах. Где пахло не шашлыком, а рыбой и смолой.

У последнего дома перед морем, на лавочке под огромной шелковицей, сидела старуха.

Маленькая, сухая, в чёрном платье и чёрном платке. Лицо — тёмное от солнца, в глубоких морщинах, как кора старого дерева. Глаза — неожиданно светлые, серо-голубые. Она чистила рыбу. Мелкую, серебристую. Быстро, ловко, ножом с деревянной ручкой. Чешуя летела во все стороны и блестела на солнце.

Рядом с ней на лавочке сидел кот. Рыжий, толстый. Ел рыбьи головы.

Маршал в переноске зашипел.

Рыжий кот поднял голову. Посмотрел на переноску. На

Маршала. Встал. Выгнул спину.

Старуха посмотрела на котов. Потом на меня.

— Твой? — спросила она. С акцентом. Не кавказским. Каким-то другим. Мягким, певучим.

— Мой.

— Одноглазый, — сказала старуха. — Воевал?

— За чужих котят.

Старуха перестала чистить рыбу. Посмотрела на меня внимательнее.

— Комнату ищешь? — спросила она.

— Ищу. Но у меня сто долларов. На месяц. Больше нет.

Старуха смотрела на меня. Светлыми глазами. Как Клавдия Ивановна. Как Фира. Как все старые женщины, которые видели слишком много, чтобы им можно было врать.

— Пить будешь? — спросила она.

— Не буду. Четырнадцатый день.

— Четырнадцатый, — повторила старуха. — Мой муж бросал сорок раз. Каждый раз — четырнадцатый день. На пятнадцатый — опять.

Она воткнула нож в доску.

— Комната есть, — сказала она. — За домом. Летняя кухня. Там кровать, стол, плитка. Туалет во дворе. Душ — шланг, вода холодная. Сто долларов — до весны. С условием.

— Каким?

— На пятнадцатый день — уйдёшь, — сказала старуха.

— Если выпьешь. Сразу. Без разговоров. Я сорок лет на это смотрела. Больше не буду.

Её звали Деспина Николаевна Панаиди. Понтийская гречанка. Ей было семьдесят два года.

Её семья приехала на Черноморское побережье из Трапезунда, из Турции, в девятнадцатом веке — греки бежали от турок, селились по всему побережью от Новороссийска до Сухуми. Табак, виноград, рыба. В тридцать седьмом её отца забрали. В сорок девятом всю семью выслали в Казахстан — Сталин не доверял грекам. Она вернулась в Адлер в пятьдесят шестом, двадцатичетырёхлетней. Вышла замуж за рыбака. Тоже грека. Янниса.

Яннис ушёл в море в декабре восемьдесят шестого. Шторм. Баркас нашли через неделю, у Пицунды, перевёрнутым. Яннис — не нашли.

— Он пил, — сказала Деспина Николаевна, когда показывала мне летнюю кухню. — Сорок лет пил. Бросал. Опять пил. В тот день — не пил. Трезвый ушёл. Я потом думала — лучше бы пьяный. Пьяный бы не пошёл, проспал бы. А трезвый — пошёл. Сети проверить. Шторм шёл. Все знали. Он пошёл.

Она открыла дверь летней кухни.

Маленькая комната. Беленые стены. Железная кровать с панцирной сеткой. Стол, покрытый клеёнкой в клетку. Электроплитка. Табуретка. На стене — икона, тёмная, греческая,

с золотым фоном. И фотография в рамке: молодой мужчина с усами, в тельняшке, на фоне баркаса. Смеётся.

— Яннис, — сказала Деспина Николаевна. — Пусть висит. Он тебе не помешает. Он хороший был. Только пил.

Окно выходило на море. Прямо на море — за забором из ракушечника, за грядкой помидоров, за двумя перевёрнутыми лодками начиналась галька, а за галькой — вода. Синяя. До горизонта.

Я поставил переноску на пол. Открыл.

Маршал вышел. Медленно. Огляделся. Понюхал воздух. Подошёл к окну. Запрыгнул на подоконник.

И лёг. Мордой к морю. Как у Клавдии Ивановны лежал мордой во двор.

Деспина Николаевна посмотрела на кота.

— Остаётся, — сказала она. — Хорошо. Коты знают, где жить.

Вечером я пошёл на мол.

Адлерский мол — длинная бетонная стрела, уходящая в море метров на двести. С маяком на конце. Белым, невысоким, с красной полосой. По вечерам на молу сидели рыбаки. Десятки. Старики, мужики, мальчишки. С удочками, с вёдрами, с термосами. Молча. Спиной к берегу. Лицом к морю.

Я развернул коричневую бумагу. Достал удочку.

Старую, бамбуковую, складную. С потрескавшимся лаком. С потёртой катушкой. С ручкой, обмотанной изолен-

той. Удочку отца Арсена, с Севана.

Собрал. Колена вошли друг в друга туго, со скрипом. Катушка заскрежетала, когда я её крутанул.

Рядом со мной на бетоне сидел старик. В кепке, в выцветшей рубашке, босиком. Загорелый до черноты. С удочкой — длинной, современной, японской. Он посмотрел на мою.

Потом на меня.

— Это что? — спросил он.

— Удочка.

— Вижу, что не швабра. Откуда?

— С Севана. Армения. Ей лет пятьдесят.

Старик протянул руку. Я дал ему удочку. Он повертел её. Подёргал катушку. Посмотрел на кольца. Провёл пальцем по бамбуку.

— Хорошая, — сказал он. — Старая. На форель делали. Здесь кефаль. Кефаль хитрее форели. Но и эта возьмёт. Если не дёргаться.

Он вернул мне удочку.

— Наживка есть?

— Нет.

Старик полез в ведро. Достал горсть чего-то серого, липкого. Тесто. С запахом хлеба и анисового масла.

— На, — сказал он. — Катай шарик. С горошину. Насаживай. Закидывай вон туда, где вода темнее. Там кефаль ходит. И сиди.

— Сколько?

Старик пожал плечами.

— Сколько надо, — сказал он. — Кефаль не любит, когда спешат.

Я закинул. Неловко. Леска запуталась, крючок зацепился за бетон, поплавок шлёпнулся в метре от мола. Старик молча наблюдал. Потом показал — как держать, как замахиваться, как отпускать леску.

Со второго раза поплавок лёг туда, где вода темнее.

И я сел.

На тёплый бетон. Свесив ноги над водой. С бамбуковой удочкой в руках. Рядом со стариком в кепке, которого не знал.

Солнце садилось. Прямо в море. Огромное, красное, медленное. Небо горело — оранжевым, розовым, лиловым. Вода стала золотой. По ней бежала дорожка — от горизонта прямо ко мне, к молу, к поплавку.

Чайки кричали.

Поплавок лежал на воде. Красно-белый. Неподвижный.

Я смотрел на него.

Минуту. Пять. Десять.

Поплавок не двигался.

Я начал дёргаться. Внутри. Мысли. Сто долларов. Нет работы. Тамара. Ирма. Эля. Шаховской. Гром. Билборды. Медведь в рюкзаке. Наталья Сергеевна: «Ошиблись номером». Вытрезвитель. Бутылки в раковине. Клавдия Иванов-

на в гробу — лёгком, как пустом.

Мысли неслись, как поезд под горку. Без тормозов.

А поплавок лежал на воде. Неподвижный.

— Не думай, — сказал старик рядом. Не поворачивая головы.

— Что?

— Ты думаешь, — сказал он. — Громко. Кефаль слышит. Она чувствует, когда на моле кто-то думает. Уходит.

— Как не думать?

Старик пожал плечами.

— Смотри на поплавок, — сказал он. — Только на него. Как будто больше ничего нет. Ни берега. Ни Москвы. Ни баб. Ни денег. Только поплавок. И вода.

Я посмотрел на поплавок.

Красно-белый. На золотой воде.

Только он.

Я не знаю, сколько прошло времени. Солнце село. Небо стало фиолетовым, потом синим, потом тёмным. На маяке зажёгся огонь. Рыбаки вокруг доставали фонарики.

А я смотрел на поплавок.

И мысли — ушли. Не сразу. Медленно. Как вода уходит в песок. Сначала Москва. Потом Эля. Потом Гром. Потом билборды. Потом даже Ирма. Даже Ростов.

Остался только поплавок. И вода. И тёплый бетон. И старик рядом, который тихо дышал.

И я понял, что впервые за много лет — может быть, впервые с двенадцати лет, с той двери в прихожей на Нахаловке — я никуда не бегу.

Сижу.

Просто сижу.

Поплавок дёрнулся.

Чуть-чуть. Еле заметно. Как будто кто-то тронул его снизу пальцем. И замер.

Я рванул удочку вверх.

Крючок вылетел из воды. Пустой. Без наживки. Тесто съели.

— Рано, — сказал старик. — Она пробовала. Не взяла ещё. Ты дёрнулся.

«Кто первый дёрнется — тот и проиграл».

Я сидел на моле с пустым крючком и смеялся. Тихо. Сам над собой.

Пятьдесят лет назад отец Арсена говорил это сыну на Севане. Арсен не слушал пятьдесят лет. А я — не слушал пять минут. И проиграл кефали.

Старик достал ещё теста. Протянул мне.

— Ещё раз, — сказал он. — Кефаль не обижается. Она глупая. Вернётся.

Я скатал шарик. Насадил. Закинул.

Сел.

И стал ждать.

В тот вечер я ничего не поймал. Ни одной рыбы. Поплавок дёргался ещё трижды. Трижды я дёргался раньше. Трижды крючок вылетал пустым.

Но когда я шёл домой по тёмному берегу, с удочкой на плече, мимо перевёрнутых лодок, под шум прибоя, — я впервые за пятнадцать дней не думал о выпивке.

Ни разу. За весь вечер.

Деспина Николаевна сидела на лавочке под шелковицей. В темноте. Ждала.

— Поймал? — спросила она.

— Нет.

— Пил?

— Нет.

Она кивнула.

— Пятнадцатый день, — сказала она. — Яннис на пятнадцатый всегда начинал. Посмотрим.

И ушла в дом.

А я лёг на железную кровать в летней кухне. Маршал спал на подоконнике, мордой к морю. С фотографии на стене смеялся Яннис в тельняшке.

За окном шумело море. Ровно, тяжело, спокойно. Как дыхание кого-то очень большого.

Я уснул через пять минут. Первый раз за много лет — без снов.

Глава 2. Кефаль

Старика на моле звали Бим.

Не по паспорту — по паспорту он был Борис Ильич Мельников. Но Бимом его звали весь Адлер. Потому что тридцать лет он был клоуном. В Сочинском цирке, в Ростовском, в Московском на Цветном. Белый клоун. Бим. А его напарник, рыжий, — Бом. Бом умер в девяносто восьмом. Бим ушёл из цирка в тот же год. Сказал, что без Бома смешить не может.

Теперь он рыбачил. Каждый день. С рассвета до темноты. На одном и том же месте — на молу, у третьего фонаря от маяка.

— Клоун и рыбак — одна профессия, — сказал он мне на второй вечер. — Оба ждут. Клоун ждёт, когда засмеются. Рыбак — когда клюнет. Если поторопишься — ни смеха, ни рыбы.

Я приходил к третьему фонарю каждый вечер. Бим не прогонял. Делился тестом. Показывал. Молчал.

На третий вечер я снова ничего не поймал. На четвёртый — тоже. На пятый у меня клюнуло четыре раза, и четыре раза я дёрнулся раньше времени.

Бим на пятый вечер поймал одиннадцать кефалей. Не глядя на поплавок. Разговаривая со мной о Карандаше и Никулине.

— Как вы видите? — спросил я. — Вы же не смотрите.

— Я не вижу, — сказал Бим. — Я чувствую. Через удочку. Через руки. Кефаль — она когда подходит, вода меняется. Чуть-чуть. Леска натягивается по-другому. Это не видно. Это слышно руками.

— Как этому научиться?

— Перестань смотреть, — сказал Бим. — Ты смотришь на поплавок, как будто он тебе должен. А он ничего не должен. Он просто плавает. Положи удочку на колени. Закрой глаза. Слушай руками.

Я закрыл глаза.

Сидел на тёплом бетоне. С удочкой на коленях. Вокруг шумело море. Кричали чайки. Где-то на набережной играла музыка из кафе — что-то армянское, с дудуком. Бим рядом тихо насвистывал. Пахло солью и тестом с анисом.

Я слушал руками.

Сначала ничего. Просто удочка. Бамбук, тёплый от солнца. Леска. Вес поплавка на конце, далеко в воде.

Потом — я не знаю, сколько прошло, — что-то изменилось. Не в воде. Во мне. Как будто руки стали длиннее. Как будто бамбук стал продолжением пальцев, а леска — продолжением бамбука. И я чувствовал воду на том конце. Как она покачивается. Как дышит.

И вдруг — тук.

Еле-еле. Как сердце у кого-то маленького.

Я не дёрнулся.

Тук. Тук-тук.

Я не дёрнулся.

А потом леска пошла. Медленно, туго, вбок, вниз. Как будто кто-то на том конце решил: беру.

— Сейчас, — сказал Бим тихо.

Я подсёк.

Кефаль была небольшая. Граммов двести. Серебристая, узкая, с тёмной спинкой и большими глупыми глазами. Она билась на бетоне у моих ног, сверкая чешуёй в лучах заходящего солнца.

Я смотрел на неё и не мог поверить.

Первая рыба. В двадцать три года. На удочку отца Арсена. На Адлерском молу. После пяти дней, после двадцати промахов.

Бим смотрел на меня. Улыбался — по-клоунски, всем лицом, так, что морщины разбегались до ушей.

— Ну? — сказал он. — Как?

Я не мог ответить. У меня перехватило горло.

Это было глупо. Рыба. Маленькая. Двести граммов. Бим ловил таких по двадцать за вечер.

Но я сидел на бетоне, смотрел на неё и чувствовал то, чего не чувствовал никогда. Ни когда нашёл Дашу на Черкизоне. Ни когда подписал партнёрский договор. Ни когда увидел себя на билборде на Тверской.

Я чувствовал, что сделал что-то правильно. Не быстро. Не

хитро. Не прочитав кого-то за три секунды. А просто — подождав.

— Отпусти, — сказал Бим.

— Что?

— Первую — отпускают. Примета такая. Рыбацкая. Первую отпустишь — море запомнит. Будет давать.

Я взял кефаль. Мокрую, холодную, скользкую. Она билась в ладони. Я почувствовал, как бьётся её сердце — быстро, испуганно, как у Гоши под мостом.

Снял с крючка. Осторожно, как Карина снимала швы.

И опустил в воду.

Кефаль секунду стояла у поверхности. Не веря. Потом шевельнула хвостом. И ушла. В тёмную воду. Домой.

Про Бома Бим рассказал мне в тот же вечер. Когда солнце село и рыбаки начали сматывать удочки.

Он долго молчал. Смотрел на маяк, который только что зажёгся. Потом сказал, не поворачиваясь:

— Он был рыжий. Бом. По-настоящему рыжий, не парик. Веснушки до ушей. Мы с ним тридцать один год на одном манеже. С пятьдесят восьмого. Пришли в училище в один день. Он из Саратова, я из Таганрога. Нас поставили в пару на первом же экзамене. Педагог сказал — вы два идиота, но вместе — смешно. И мы стали вместе.

Бим достал из кармана папиросу. Не закурил. Просто держал в пальцах.

— Белый клоун и рыжий, — сказал он. — Знаешь, в чём разница? Белый — умный. Он всё знает, всем командует, у него всё правильно. А рыжий — дурак. Он всё портит. Падает. Ломает. Опрокидывает ведро. И весь цирк смеётся. Над рыжим. Не над белым.

Он посмотрел на меня.

— А на самом деле, — сказал Бим, — рыжий — главный. Белый без рыжего — просто дядька в блёстках. Скучный. А рыжий без белого — всё равно смешной. Бом это знал. Я — нет. Тридцать лет думал, что я главный. Что я придумываю номера, я веду, я решаю.

Он помолчал.

— В девяносто восьмом у Бома нашли рак. Желудок. Он мне не сказал. Полгода работал. Падал на манеже, как всегда. Опрокидывал ведро. Публика смеялась. А он после каждого представления шёл в гримёрку и лежал на полу час. Я думал — устаёт. Возраст. Шестьдесят лет.

Папироса в его пальцах сломалась. Он посмотрел на неё. Выбросил в воду.

— В последний раз он упал по-настоящему, — сказал Бим. — В Ростове. В цирке на Будённовском. Номер «Ведро». Он должен был поскользнуться на мыле, перелететь через ведро и упасть на спину. Он поскользнулся. Перелетел. Упал. И не встал.

Публика смеялась. Минуту. Две. Думали — так задумано. Рыжий лежит, белый над ним стоит, руками разводит.

Смешно.

А я стоял над ним и разводил руками. И не понимал. Думал — он импровизирует. Он любил импровизировать.

Потом увидел его глаза. Под гримом.

Бим замолчал. Долго. Маяк мигал над нами — красный, белый.

— Его унесли с манежа под аплодисменты, — сказал он наконец. — Публика думала — финал номера. Хлопали стоя. А он умер в карете скорой. На Будённовском. В трёхстах метрах от травмпункта.

Я вздрогнул. Травмпункт на Будённовском. Девять швов. Карина.

— Я больше не мог выйти на манеж, — сказал Бим. — Ни разу. Белый без рыжего — никто. Я уехал сюда. К морю. Сел на мол. Стал рыбу ловить. Рыба не смеётся. С ней не надо быть главным.

Он повернулся ко мне.

— Знаешь, чему меня Бом научил? За тридцать один год? Одному. Я понял это только здесь, на моле. Через пять лет после.

— Чему?

— Что главный — не тот, кто командует, — сказал Бим. — А тот, кто падает. Чтобы другим было смешно. Чтобы другим было легче. Бом всю жизнь падал. За меня. За публику. За всех. А я стоял и командовал. И думал, что я важнее.

Он встал. Опёрся на удочку, как на посох.

— Ты — белый, — сказал Бим. — Я вижу. Ты всех видишь, всех читаешь, всеми командуешь. Как я. Найди своего рыжего. Пока не поздно. И когда найдёшь — не думай, что ты главный.

Он ушёл по молу. Старый, сутулый, в кепке.

А я сидел и думал о Гоше. О толстом мальчике с маминым пирожком в газете «Комсомольская правда». Который всю жизнь падал. За меня. В «Волге» с Самоваром. Под мостом с барабаном. С тубой на свадьбе Голованових. С «Шанелью» через два «эн».

А я стоял и командовал.

И думал, что я главный.

Деньги кончились через две недели.

Сто долларов я отдал Деспине Николаевне за комнату в первый же день. Оставалось немного рублей — сдача с часов «Омега», которую грузин на Тишинке отдал мелочью. На хлеб, на чай, на тесто для кефали. На кошачий корм для Маршала. К середине сентября не осталось ничего.

Деспина Николаевна это видела. Ничего не говорила. Просто по утрам на столе в летней кухне появлялась тарелка. Фасоль с зеленью. Лепёшки. Варёная кукуруза. Однажды — пирог с сыром и шпинатом, греческий, слоёный, такой, что я съел его весь, стоя, не садясь.

Я пытался заплатить. Она отмахивалась.

— Яннис тоже приходил без денег, — сказала она. — Со-

рок лет. Я кормила. Привыкла.

На шестнадцатый день я поймал семь кефалей. На двадцатый — двенадцать. На двадцать пятый — двадцать три. Бим смотрел на моё ведро и качал головой.

— Ты быстро учишься, — сказал он. — Подозрительно быстро. Ты где раньше людей ловил?

Я засмеялся.

— Почему людей?

— Потому что так быстро рыбу учатся ловить только те, кто раньше ловил людей, — сказал Бим. — Я в цирке видел. Шулера, которые к нам в клоуны шли, — за месяц всё схватывали. Они умеют чувствовать, когда клюнет. Только раньше — на деньги. А теперь — на смех.

Рыбу я продавал.

На набережной Адлера было кафе «Черноморочка». Маленькое, на шесть столиков, под навесом из виноградной лозы. Хозяйка — тётя Ася, армянка из Сухуми, беженка девяносто третьего года, огромная, громкая, как тётя Галя с Центрального рынка. Только вместо тарани у неё была жареная барабулька.

Я принёс ей ведро кефали в первый раз. Двенадцать штук. Она посмотрела на рыбу. На меня. На удочку на моём плече.

— С мола? — спросила она.

— С мола.

— Сколько хочешь?

Я подумал. Три секунды. Посмотрел на неё. На кафе. На шесть столиков, за которыми сидели последние отдыхающие, ели жареную рыбу и пили вино.

Чего она хочет? Свежую рыбу дёшево. Чего боится? Что я буду носить её конкурентам, в «Волну» через дорогу. Чего не хватает? Поставщика, на которого можно положиться.

— Сто рублей за ведро, — сказал я. — Каждый день. Только вам. В «Волну» не понесу.

Тётя Ася прищурилась.

— Сто пятьдесят, — сказала она. — Но каждый день. Если не принесёшь — найду и утоплю. Я из Сухуми. Мы умеем.

Я протянул руку. Она пожала. Ладонь у неё была горячая и шершавая, как наждак.

Так у меня появился первый заработок в Сочи. Сто пятьдесят рублей в день. Пять долларов. Меньше, чем я тратил на один обед в «Пушкине» полгода назад.

Я нёс эти сто пятьдесят рублей домой по набережной, сжимая в кулаке, как когда-то в четырнадцать лет нёс выручку за первые проданные свечи зажигания.

И был счастлив. Глупо, по-детски, всем телом.

В конце сентября тётя Ася сказала:

— Слушай, рыбак. Ты на рыбака не похож.

— А на кого похож?

Тётя Ася окинула меня взглядом. Мою рубашку из «Пола Шарка», уже выцветшую. Мои руки, на которых ещё не было

мозолей, только порезы от крючков. Моё лицо.

— На продавца, — сказала она. — Ты как со мной торговался — я сразу поняла. Ты не рыбак. Ты продавец. Хороший. Сухумский рынок бы тебя взял.

Она налила мне кофе — турецкий, в медной джезве, густой, как смола.

— Гураму человек нужен, — сказала тётя Ася. — На пляж. «Маяк». Ты знаешь, где это?

Я знал. Самый большой пляж в Адлере. Лежаки, зонтики, гидроциклы, бананы, параплан, кафе, дискотека по ночам. Над входом — огромный надувной маяк, красно-белый, видный с мола.

— Гурам — мой племянник, — сказала тётя Ася. — Двоюродный. Хороший мальчик. Немножко бандит. Но хороший. Ему нужен человек, который умеет продавать. Туристам. Катания на гидроциклах, на бананах, на парашюте. Его мальчики не умеют. Они умеют только кричать «Банан! Банан! Двести рублей!». А туристы от крика убегают.

Она посмотрела на меня.

— А ты не кричишь, — сказала тётя Ася. — Ты смотришь. Я видела. Ты на меня посмотрел — и я тебе сто пятьдесят дала. А я никому больше ста не даю.

Вечером я сидел на моле с Бимом. Кефаль клевала вяло — вода остывала, рыба уходила глубже.

— Работу предлагают, — сказал я. — На пляже. У Гурама.

Бим не повернул головы.

— Гурам, — сказал он. — Знаю Гурама. Весёлый. Щедрый. Опасный. Как тигр в цирке. С ним можно работать. Нельзя поворачиваться спиной.

— Идти?

Бим подумал.

— А ты здесь зачем? — спросил он. — На моле. Каждый вечер. Месяц.

Я подумал тоже.

— Учусь ждать.

— Научился?

— Немного.

— Ну так и иди, — сказал Бим. — Пляж — это тот же мол. Только люди вместо кефали. Будешь ждать, когда клюнут. Не дёргаться. Не кричать «Банан!». А когда клюнет — подсекать. Мягко. Чтобы не сорвалась.

Он подсёк. Вытащил кефаль. Снял с крючка. Бросил в ведро.

— Только одно помни, — сказал Бим. — Первую — отпускай. Всегда. Не только рыбу. Первого туриста, первые деньги, первую женщину, которая на тебя посмотрит. Отпусти. Море запомнит. Будет давать.

Я кивнул.

На тридцатый день трезвости я пошёл на пляж «Маяк».

Деспина Николаевна проводила меня до калитки.

— Тридцатый, — сказала она. — Яннис ни разу до трид-

цатого не доходил.

Она перекрестила меня. Медленно, тремя пальцами, шепча что-то по-гречески.

И впервые улыбнулась.

Глава 3. Пляж Гурама

Гурам был лысый, загорелый и громкий. Это первое, что я увидел. Второе — золотая цепь на шее толщиной с палец. Третье — шрам через всю левую бровь. Четвёртое — улыбка. Широкая, белозубая, такая заразительная, что хотелось улыбнуться в ответ, даже если ты ни за что не собирался.

Ему было тридцать пять. Мать — грузинка из Гагры. Отец — армянин из Сухуми. Родной брат тёти Аси. В девяносто третьем, когда в Абхазии шла война, семья бежала в Адлер. Гураму было двадцать четыре. Он приехал с одним рюкзаком и ножом в кармане. Через десять лет у него был самый большой пляж в Адлере, два кафе, дискотека, двенадцать гидроциклов и дом в Кудепсте с бассейном.

Как он этого добился, в Адлере не спрашивали. Так же, как в Ростове не спрашивали про Арсена.

Он сидел под зонтиком в шезлонге, в одних шортах, с телефоном в одной руке и шампуром шашлыка в другой. Смотрел на меня поверх солнечных очков.

— Тётя Ася говорит, ты продавец, — сказал он.

— Продавец.

— Где продавал?

— На рынке в Ростове. Потом в Москве. Моделей.

Гурам перестал жевать.

— Моделей? — переспросил он. — Это как?

— Модельное агентство. Искал девушек. Продавал их лица. Рекламе, журналам, показам.

Гурам смотрел на меня долго. Потом снял очки. Глаза у него оказались неожиданно умные. Тёмные, внимательные, быстрые.

— И что, хорошо продавал?

— Хорошо. Одна девочка в Милане «Прада» открывала. С Черкизона.

— А почему ушёл?

Я подумал. Можно было соврать. Сказать — устал, захотелось к морю, Москва надоела.

— Подписал не те бумаги, — сказал я. — Пьяный. Агентство из-за меня продали. Мне сказали уехать из Москвы.

Гурам смотрел на меня ещё секунду. Потом засмеялся. Громко, на весь пляж. Так, что чайки взлетели с буйков.

— Честный! — сказал он сквозь смех. — Тётя Ася сказала — он честный. Я не поверил. Честный продавец — это как трезвый грузин на свадьбе. Не бывает. А ты — честный!

Он вытер глаза.

— Ладно, — сказал Гурам. — Испытание. Один день. Видишь бананы?

Бананы — это надувные лодки в форме банана. Ярко-жёлтые, длинные, на шесть-восемь человек. Туристы садятся на них верхом, как на лошадь, держатся за ручки. Гидроцикл тянет банан на тросе по морю. Быстро, с поворотами. На по-

воротах банан переворачивается, туристы летят в воду, визжат, смеются. Двести рублей с человека. Десять минут.

На «Маяке» было три банана. Их продавали мальчики Гурама — четверо парней лет двадцати, загорелых до черноты, в одинаковых красных шортах. Они ходили по пляжу между лежаками и кричали:

— Банан! Банан! Двести рублей! Банан!

Туристы отворачивались. Прятались под зонтики. Делали вид, что спят.

Был конец сентября. Бархатный сезон кончался. На пляже — человек двести. В основном москвичи и питерцы, с детьми, которые прогуливали школу. И пенсионеры, приехавшие на последнее тепло.

Гурам дал мне красные шорты. Я их не надел. Остался в своих джинсах и выцветшей рубашке.

— Ты что, не будешь кричать? — спросил один из мальчиков, Ашот. На побережье каждый третий армянин — Ашот.

— Не буду.

— А как продашь?

— Посмотрю.

Я ходил по пляжу час. Ничего не продавал. Просто ходил и смотрел.

Мальчики Гурама смотрели на меня и хихикали. Гурам — со своего шезлонга, поверх очков — не хихикал. Смотрел внимательно.

Я смотрел на туристов. Как на рынке. Как на кастинге. Три секунды на каждого.

Вот семья. Папа, мама, двое мальчишек — восемь и одиннадцать лет. Папа читает «Спорт-Экспресс». Мама мажет детей кремом. Мальчишки смотрят на банан, который как раз выходит в море, — с такой тоской, что можно было заплакать. Папа на банан не смотрит. Папа считает деньги — я вижу по тому, как он держит газету, по тому, как поглядывает на сумку. Четыреста рублей за двоих детей — для него много. Он бюджетник. Учитель, может. Или инженер.

Вот парочка. Молодые, лет по двадцать пять. Медовый месяц — у неё на пальце новое кольцо, она всё время на него смотрит. Он лежит, загорает, ему скучно. Ей тоже, но она делает вид, что нет. Они приехали из Твери — у неё на полотенце надпись «Тверь — город воинской славы». Первый отпуск вместе. Первый раз на море. Боятся, что что-то пойдёт не так.

Вот три подруги. Лет сорока. Без мужей. Москвички — по говору, по маникюру, по тому, как они осматривают пляж. Пьют вино из пластиковых стаканчиков. Громко смеются. Слишком громко. Им грустно. Мужья не поехали. Или мужей нет.

Вот дед. Один. Семьдесят пять лет. В панаме. С палочкой. Сидит на лежаке, смотрит на море. Не купается. Наверное, ветеран — у него на рубашке значок. Приехал по путёвке. Один. Смотрит на банан. На молодых, которые визжат на

нём. И улыбается. Как будто вспоминает что-то.

Я подошёл к семье с мальчишками.

Не к папе. К маме.

— Извините, — сказал я тихо. — У вас мальчики на банан смотрят. Я видел.

Мама подняла глаза. Устало, настороженно. Готовая отказать.

— У нас последний заплыв банана сегодня — через двадцать минут, — сказал я. — Перед закатом. Самый красивый. Я могу посадить мальчиков бесплатно. Если они согласятся сесть с одним дедушкой. Ему семьдесят пять, он один, ему страшно одному. Мальчики будут его держать.

Мама посмотрела на меня. Потом на деда в панаме. Потом на сыновей.

Папа опустил газету.

— Бесплатно? — переспросил он подозрительно.

— Бесплатно, — сказал я. — Для мальчиков. Дед платит.

Папа смотрел на меня секунду. Потом на сыновей, которые уже вскочили с лежака.

— Ну… — сказал он. — Если бесплатно…

Потом я подошёл к деду.

— Отец, — сказал я. — Вы на банан смотрите. Хотите?

Дед поднял на меня глаза. Светлые, выцветшие, как у Клавдии Ивановны.

— Куда мне, сынок, — сказал он. — Семьдесят пять. Утону.

— Не утонете. С вами двое пацанов поедут. Крепкие. Будут держать. А вы будете держать их. Это честно. Двести рублей.

Дед смотрел на меня. Потом на мальчишек, которые прыгали у воды. Потом на море.

— Я в сорок четвёртом, — сказал он медленно, — Днепр переплывал. На бревне. С автоматом. Под огнём.

— Тогда банан для вас — ерунда, — сказал я.

Дед засмеялся. Встал. Опираясь на палочку.

— Давай, сынок, — сказал он. — Последний раз. Пока живой.

Потом молодожёны из Твери.

Я подошёл к ним, когда банан уже отходил с дедом и мальчишками. Дед кричал «Ура!», мальчишки визжали, весь пляж смотрел.

— Вы первый раз на море, — сказал я. Не спросил. — Медовый месяц.

Девушка покраснела. Парень приподнялся на локте.

— Через полчаса — закат, — сказал я. — Самый красивый в сезоне — последние дни сентября, солнце садится прямо в море. Хотите посмотреть на него с воды? Не на банане — на банане визжат. На гидроцикле. Вдвоём. Медленно. Я скажу водителю, чтоб не гнал. Пятнадцать минут. Вы будете

единственные в море. Как в кино.

Девушка посмотрела на парня. Он посмотрел на неё. Я видел, как он прочитал в её глазах всё.

— Сколько? — спросил он.

— Пятьсот, — сказал я. — Это дорого. Но вы будете это помнить, когда вам будет семьдесят пять. Как тот дед.

Они посмотрели на банан. На деда. Он как раз перевернулся вместе с мальчишками, и все трое вынырнули, хохоча.

— Давайте, — сказал парень.

Потом три подруги.

К ним я подошёл с параплан-катером. Это когда тебя на парашюте поднимают в небо на тросе за катером. Тысяча рублей. Самое дорогое на пляже.

— Девушки, — сказал я. — Вы, наверное, не полетите. Это для молодых.

Три подруги замолчали. Посмотрели на меня. Как будто я оскорбил их мать.

— Это почему для молодых? — спросила самая громкая, блондинка в розовом купальнике.

— Ну… страшно же. Высоко. Пятьдесят метров.

Блондинка встала.

— Мне сорок один год, — сказала она. — Я двадцать лет замужем за идиотом. Я родила троих. Я прошла через дефолт, через развод подруги, через климакс свекрови. Мне ничего не страшно.

Она повернулась к подругам.

— Девочки, — сказала она. — Летим.

Они полетели. Все три. По очереди. Над морем. Над пляжем. Над Адлером. Каждая кричала что-то сверху — неразборчивое, счастливое, освобождённое. Блондинка, говорят, кричала имя мужа и что-то нецензурное.

К закату я продал двадцать три катания. Из них три — параплан, шесть — гидроциклы, четырнадцать — бананы. Два бесплатных — мальчики. Остальное — за деньги.

Мальчики Гурама за весь день продали шесть.

Гурам сидел в шезлонге. Не смотрел на море. Смотрел на меня.

Когда солнце село, он позвал меня. Налил вина. Я накрыл стакан ладонью. Он посмотрел на мою руку. На шрам. Кивнул и налил мне лимонада.

— Ты продаёшь как цыган, — сказал Гурам. — Только честный. Это редкость.

— Я не продаю, — сказал я. — Я смотрю, кому чего не хватает. И даю.

Гурам долго молчал. Курил. Смотрел на море, где ещё догорала полоска заката.

— Деду чего не хватало? — спросил он.

— Сорок четвёртого года.

— Молодым?

— Чтобы всё было как в кино.

— Бабам?

— Чтобы кто-то сказал, что они не смогут.

Гурам засмеялся. Тихо, без звука.

— Пятнадцать процентов с каждого катания, — сказал он. — И пятьсот рублей в день просто так. За то, что ты есть. Сезон кончается через две недели. Потом пляж закрыт до мая. Зимой — работа будет. Лежаки чинить, гидроциклы перебирать. Ты умеешь моторы?

— Умею. Датчики температуры особенно.

Гурам не понял шутку. Но кивнул.

— Только одно, — сказал он. И перестал улыбаться. Глаза стали другие. Тёмные. Как у Арсена на льду. — На моём пляже никто не ворует. Никто не врёт мне. Никто не ходит к моим конкурентам. Кто ворует — тот уходит. Кто врёт — тот плавает. Далеко. Понял?

— Понял.

— Ты честный, — сказал Гурам. — Это хорошо. Но честные тоже иногда врут. Когда очень надо. Я знаю. Я сам честный.

И снова засмеялся. Белозубо, широко, так, что я не смог не улыбнуться.

Вечером я пришёл на мол. Бим сидел у третьего фонаря.

— Ну? — спросил он.

— Взял.

Бим кивнул.

— Первого отпустил?

Я подумал. Мальчишки. Бесплатно.

— Двоих, — сказал я.

Бим засмеялся по-клоунски, всем лицом.

— Значит, море тебя запомнит, — сказал он. — Дважды.

Я сел рядом. Закинул удочку. Солнца уже не было — только маяк мигал.

Кефаль клюнула через пять минут.

Я не дёрнулся.

Глава 4. Письмо из Ростова

Письмо пришло в середине октября. На адрес Деспины Николаевны — я дал его Гоше в первую же неделю, по телефону-автомату с почты.

Конверт был толстый, мятый, в пятнах. На марке — ростовский Собор. На обратном адресе кривыми Гошиными буквами: «Ростов-на-Дону. Нахаловка. Бубликян Г. (бывш. Бублик)».

Деспина Николаевна принесла его мне на мол. Сама. В шесть вечера, когда я сидел у третьего фонаря рядом с Бимом. Она шла по бетону медленно, в чёрном платке, с конвертом в вытянутой руке, как с иконой.

— Тебе, — сказала она. — Из Ростова. Толстое. Хорошее или плохое — не знаю. Но толстое. Плохие письма — тонкие.

И ушла.

Бим посмотрел на конверт. Потом на меня.

— Читай, — сказал он. — Я за поплавком посмотрю.

Гоша писал так же, как говорил. Без точек, без абзацев, с восклицательными знаками через каждое слово, с ошибками, которые я не буду исправлять, потому что без них это был бы не Гоша.

«Макс!!! Привет!!! Как ты там??? Как море??? Как кот??? Анаит передаёт привет и говорит, чтоб ты не пил и ел нор-

мально, она тебе посылку соберёт, там будет бастурма и гата, ты не ешь всё сразу!!!

Макс я тебе сейчас такое расскажу ты упадёшь. Сядь. Ты сидишь? Сядь!!!

Она приехала!!! Ирма!!! В Ростов!!! Двадцать первого сентября!!!

Я её на вокзале встречал. Мне Рафик позвонил, сказал — Гоша, встреть, я не могу, Арсен не знает, а если я поеду он спросит куда. Я поехал. Стою на перроне, второй путь, поезд из Москвы. Она выходит. Последняя. В чёрном пальто. С одной сумкой. И с этой фотографией в газете, я видел, она её держала как ребёнка. Посмотрела на перрон. Долго смотрела. Я подошёл, говорю — Ирма Генриховна, я Гоша, друг Макса, вы меня помните, мы в Москве. Она посмотрела на меня и говорит — помню, ты Шанель через два эн продавал. Макс, откуда она знает??? Ты рассказал??? Я тебя убью!!!

В общем я её отвёз. Она сняла комнату на Нахичевани, на Тридцать девятой линии. Говорит там раньше жила. Дом тот же. Только облезлый. Бабка-хозяйка её узнала!!! Представляешь!!! Двадцать три года прошло!!! Бабка говорит — Иринка Вольская, ты что ли? Та, что в порту за кранами курила? Ирма засмеялась и заплакала одновременно. Я сам чуть не заплакал.

А в субботу Рафик повёз её на Дон.

Я не видел, Макс. Я не поехал. Рафик потом рассказал. Он мне это рассказывал час. Рафик!!! Час!!! Он больше слов

за час сказал, чем за всю жизнь!!! Я думаю он теперь вообще разговаривать начнёт, это всё она!!!

В общем. Старочеркасская, берег, Арсен сидит на стульчике. В новом костюме, представляешь, рыбачит в костюме, Рафик говорит две недели выбирал какой. Рядом второй стульчик. Пустой. Он его каждую субботу ставил. Год. Рафик говорит — я думал он для тебя, Макс. А он не для тебя был.

Рафик остановил машину наверху. Ирма вышла. Пошла вниз. По тропинке. Медленно. Арсен её не видел, он спиной сидел. Она подошла. Остановилась сзади. Стоит. Он сидит. Рафик говорит — минут пять так. Потом Арсен говорит, не оборачиваясь — садись, Ирина. Он её по шагам узнал!!! По шагам, Макс!!! Через двадцать три года!!!

Она села.

И они ничего не говорили. Три часа. Рафик говорит, он сидел в машине и смотрел. Три часа они сидели рядом и смотрели на воду. Ни слова. Ни одного.

Потом у Арсена клюнуло. Большой лещ. Он его вытащил. Снял с крючка. И отдал ей удочку. Просто протянул. И она взяла. И закинула. И сидела дальше. С его удочкой.

И тогда она заплакала.

Рафик говорит, Арсен её не обнял. Не трогал. Просто сидел рядом. Пока она плакала. Час. Потом достал термос и налил ей чаю. С чабрецом. Рафик говорит, Арсен этот чай двадцать три года не пил, а она его в семнадцать лет любила.

Макс я это пишу и реву. Анаит смеётся надо мной. Гово-

рит — ты как баба. Я говорю — я не баба, я армянин, нам можно.

Теперь каждую субботу. Рафик возит обоих. Они сидят рядом. Он с одной удочкой, она с другой. Иногда разговаривают. Рафик говорит, в основном про рыбу. Про то, какой клёв. Про погоду. Ни про что другое. Пока.

Она живёт на Нахичевани. Работает. Консультантом в каком-то ростовском агентстве моделей, маленьком, там директор от неё в обморок падает каждый день. Говорит, будет искать девочек в Ростове. Говорит, ростовские лучше московских, потому что злее.

Ну вот. Это главное.

Теперь остальное.

Тётя Галя передаёт тарань. Я в посылку положу. Она сказала — пусть ест и не пьёт, а если пьёт, пусть хоть закусывает таранью.

Ашот играет в нарды с Рафиком!!! Рафик выигрывает!!! Ашот злится!!! Говорит, Рафик молчит и поэтому всё время выигрывает, а он, Ашот, думает вслух и поэтому проигрывает.

Самовар в Ейске. Работает на рыбзаводе. Бригадир! Мать его жива, нянчит. Самовар женился. На поварихе с того же рыбзавода. Она его Валерочкой зовёт. Представляешь? Самовара — Валерочкой!!!

Тамара в Краснодаре — Фира написала Анаит — выходит замуж. За врача. Хирурга-травматолога, который ей ру-

ки лечил. Вдовец, пятьдесят лет, двое взрослых детей. Фира говорит — хороший, тихий, поёт с ней Арлекино. Свадьба в ноябре. Фира шьёт платье. Сама. Одна. С лупой.

Фира болеет. Давление. Ноги. Но шьёт. Говорит — это последнее платье, Тома, больше не могу. Тома говорит — Фира Марковна, вы это говорите про каждое платье.

Ну вот.

И ещё одно, Макс.

Цербер видела Соколову. В Новочеркасске. Она говорит, Соколова восстановилась в институте. Закончила. Работает. В больнице у отца. Хирургом. Цербер говорит — первая женщина-хирург в той больнице за двадцать лет.

Больше ничего не знаю. Правда. И не спрашивай.

Мы тебя любим. Пиши. Не пей.

Гоша (Геворг).

P.S. Максимка говорит кися. Всё время. Каждую кошку называет Маршал. Анаит говорит — это твоё влияние.

P.P.S. Анаит говорит, если ты не приедешь на Новый год, она сама приедет в Сочи. С бастурмой. И с тёщей. Подумай».

Я читал письмо на моле, а солнце садилось, и поплавок лежал на воде, и Бим тихо насвистывал рядом.

Когда я дошёл до места, где Арсен сказал «Садись, Ирина», — я перестал видеть буквы. Строчки поплыли.

Когда дошёл до чая с чабрецом — я засмеялся. Громко. На весь мол. Рыбаки обернулись.

Когда дошёл до «Валерочки» — засмеялся ещё громче.

Когда дошёл до Тамары и хирурга, который поёт с ней «Арлекино», — замолчал. И долго смотрел на море.

Когда дошёл до Соколовой — сложил письмо. Убрал во внутренний карман. Рядом с конвертом, на обороте которого было написано: «Не приходи раньше, чем научишься оставаться».

«Первая женщина-хирург в той больнице за двадцать лет».

Я знал, что так будет. С первого дня, с травмпункта на Будённовском, с девяти швов без лидокаина. «Я ещё не доктор. Следующий!»

Теперь — доктор.

— Хорошее? — спросил Бим.

Я подумал.

— Хорошее, — сказал я. — Все, кого я знал, научились. Ждать. Оставаться. Жить. Арсен. Ирма. Самовар. Тамара. Все.

— А ты?

Я посмотрел на поплавок.

— Учусь, — сказал я.

Бим кивнул.

— У тебя клюёт, — сказал он. — Уже минуту. Я не говорил. Хотел посмотреть, заметишь ли.

Я посмотрел. Поплавок медленно, плавно уходил под во-

ду. Леска натягивалась.

Я подсёк.

Кефаль была большая. Самая большая за всё время. Полкило, не меньше. Она билась на бетоне, сверкая в последних лучах.

— Не отпускай, — сказал Бим. — Эту не надо. Эту — Деспине. На ужин. С письмом пришла — с письмом и уйдёт.

Вечером мы ели кефаль. Деспина Николаевна пожарила её на чугунной сковороде, с лимоном и розмарином, по-гречески. Я сидел у неё на кухне — первый раз в доме, не в летней кухне. Она поставила на стол бутылку домашнего вина. Посмотрела на меня. Убрала.

Мы ели молча. Маршал и рыжий кот Деспины — его звали Аристотель — сидели под столом рядом, как старые друзья, и ждали голов.

— Письмо хорошее? — спросила Деспина Николаевна.

— Хорошее. Друг пишет. Из Ростова. Женщина, которая двадцать три года назад сбежала от одного человека, вернулась к нему. Теперь они рыбачат вместе. По субботам.

Деспина Николаевна перестала есть.

— Двадцать три года, — сказала она.

— Двадцать три.

Она долго молчала. Смотрела в окно. На море. На то место, где сорок лет назад причаливал баркас Янниса.

— Я бы вернулась, — сказала она тихо. — Если бы он

вернулся. Через двадцать три года. Через сорок. Я бы села рядом. Ничего бы не сказала. Просто села.

Она снова взяла вилку.

— Но он не вернётся, — сказала Деспина Николаевна. — Море не отдаёт.

Потом посмотрела на меня. Светлыми глазами.

— А тебя — ждут? — спросила она.

Я подумал о письме во внутреннем кармане. О конверте рядом.

— Не знаю, — сказал я честно.

Деспина Николаевна кивнула.

— Узнаешь, — сказала она. — Когда научишься сидеть на одном месте. Тогда узнаешь. Тех, кто бегает, не ждут. Ждут тех, кто сидит.

Ночью я написал письмо. Первое письмо в Ростов.

Не Гоше. Ирме.

На Нахичевань, Тридцать девятая линия. Адрес из Гошиного письма.

Я писал его три часа. При свете лампочки в летней кухне. Маршал спал на подоконнике. Яннис смеялся с фотографии на стене.

Что было в письме, я не скажу. Не потому что стыдно. Как и с тем, первым, которое я писал Карине на теплоходе, — оно только для неё.

Скажу только, что в конце я написал:

«Сорок пятый день. Кефаль клюёт. Я не дёргаюсь».

И отправил утром. С почты в Адлере. Заказным.

Ответ пришёл через две недели. Одна строчка. Острый, быстрый почерк:

«Сорок пятый — это хорошо. Он говорит: следующий рубеж — сотый. Потом — первый сезон. Потом — первая зима. Мы ждём. Оба. И.»

«Мы ждём. Оба».

Я прочитал это на моле. И подумал, что за всю жизнь меня ещё никто не ждал вдвоём.

Глава 5. Подвал

В ноябре Адлер умер.

Это не преувеличение. Курортный город зимой — это мёртвый город. Пляжи пустые, мокрые, серые. Лежаки сложены штабелями под брезентом. Кафе закрыты, на дверях — фанера и замки. Аттракционы стоят под чехлами, как привидения. Санатории светят тремя окнами из трёхсот. Набережная — пустая, только ветер гоняет по ней пластиковые стаканчики, оставшиеся с лета.

И дождь. Каждый день. Мелкий, нудный, тёплый — плюс двенадцать, плюс пятнадцать. Не зима, не осень. Что-то между. Как будто город завис в паузе, ожидая, когда вернётся жизнь.

Море стало серым. Тяжёлым. Злым. Оно билось о мол так, что брызги долетали до маяка. Кефаль ушла на глубину. Рыбаки — по домам.

Бим уехал к дочери в Краснодар. До весны.

Я остался один.

Гурам дал мне работу на зиму. На складе за пляжем — огромном ангаре из профнастила, где зимовало всё хозяйство «Маяка». Лежаки — деревянные, облупленные, двести штук. Гидроциклы — двенадцать, с изношенными моторами. Бананы — сдутые, сложенные, с заплатами.

Моя работа: шкурить лежаки, красить, менять доски. Перебирать моторы гидроциклов. Клеить бананы.

Я работал один. С восьми утра до шести вечера. В ангаре гудел обогреватель. Пахло краской, бензином и морем. По крыше стучал дождь.

Первую неделю это было хорошо. Работа руками. Без людей. Без трёх секунд. Шкурка ходит по дереву, снимает старую краску, под ней — светлое, чистое, живое дерево. Я шкурил и думал, что это как со мной. Снимаешь старое слой за слоем — и где-то там, под ним, может быть, тоже что-то живое.

На вторую неделю стало скучно.

На третью — тяжело.

На четвёртую — страшно.

Страшно было вот что.

В ангаре, в углу, за стеллажом с запчастями, стоял ящик. Деревянный, без надписей. Я нашёл его случайно — искал свечи для гидроцикла. Открыл.

Вино. Домашнее. «Изабелла». В пятилитровых пластиковых бутылях. Шесть штук. Гурам делал сам, у себя в Кудепсте, из своего винограда. Привозил на пляж летом, поил друзей и постоянных клиентов. Остаток — на зиму, в ангар.

Тридцать литров вина. В углу. За стеллажом. В тёмном ангаре, где я был один десять часов в день.

Я закрыл ящик. Задвинул стеллажом. Ушёл в другой ко-

нец ангара.

На следующий день я его открыл снова. Просто посмотреть. Постоял. Закрыл.

На третий день я открыл одну бутыль. Не налил. Просто открыл. Понюхал. Вино пахло виноградом, солнцем, летом. Как будто внутри этой пластиковой бутыли жило всё, чего не было сейчас в этом сером мокром городе.

Я закрыл бутыль. Руки дрожали.

В тот вечер я не пошёл на мол — штормило. Сидел в летней кухне, смотрел на дождь. Маршал спал. Яннис смеялся с фотографии.

Я смотрел на Янниса и думал, что он, наверное, тоже сидел так. В ноябре. В дождь. И думал о вине. И сорок раз доходил до четырнадцатого дня. И сорок раз — нет.

Восемьдесят седьмой день.

На восемьдесят девятый день Гурам устроил вечеринку.

Не на пляже — в своём доме в Кудепсте. Для своих. Мальчики с пляжа, официантки из кафе, диджей с дискотеки, тётя Ася, двоюродные братья, друзья из Гагры. Человек сорок. Повод — день рождения тёти Аси. Шестьдесят лет.

Я пришёл. Не мог не прийти — тётя Ася позвала лично, сказала, если не придёшь — утоплю, я из Сухуми.

Дом Гурама был большой, белый, с колоннами и бассейном. Во дворе — мангал, на мангале — шашлык. Огромные столы под навесом. И на столах — вино. Везде. В графинах,

в кувшинах, в бутылках. «Изабелла», «Лыхны», «Апсны», чача.

Я сел в углу. С лимонадом. Гурам увидел. Кивнул. Ничего не сказал.

Тосты шли один за другим. Грузинские, длинные, красивые. Про мать. Про родину. Про Сухуми, который потеряли. Про Гагру, где пахнет мандаринами. Про море, которое одно на всех — для грузин, абхазов, армян, русских, греков. Все пили. Все плакали. Все обнимались.

А я сидел с лимонадом и чувствовал, как внутри у меня что-то натягивается. Как леска, когда клюёт большая рыба. Туже. Туже. Ещё туже.

Тётя Ася встала. Огромная, в красном платье, с орденом «Мать-героиня» на груди. Подняла бокал.

— Я хочу выпить, — сказала она, — за мальчика, который в углу сидит с лимонадом.

Все повернулись ко мне.

— Он мне рыбу носил, — сказала тётя Ася. — Каждый день. Месяц. Ни разу не опоздал. Ни разу не обманул. Ни разу не пошёл в «Волну». Он сто пятьдесят брал, а мог двести, я бы дала. Он не просил. За него!

Все подняли бокалы. Все посмотрели на меня.

И кто-то — один из братьев Гурама, весёлый, пьяный, добрый — сунул мне в руку стакан. С вином. Полный. Тёмно-красный.

— За тебя, брат! — сказал он. — Ты чего с лимонадом?

Обидишь тётю! За неё — только вином!

Я держал стакан.

Сорок человек смотрели на меня. Тётя Ася с поднятым бокалом. Гурам — молча, внимательно. Брат — с улыбкой.

В стакане было вино. «Изабелла». Пахло виноградом, солнцем, летом.

Леска натянулась так, что вот-вот лопнет.

Я поставил стакан на стол.

Не выпил. Не вылил. Просто поставил. Рядом с тарелкой.

Встал.

— Тётя Ася, — сказал я. Голос дрожал. — Спасибо. Я вас очень люблю. Но я не могу. Я восемьдесят девять дней не пью. Если выпью — Деспина Николаевна меня выгонит. И будет права.

Тишина.

Сорок человек молчали. Брат Гурама смотрел на меня с открытым ртом.

Потом тётя Ася засмеялась. Громко, раскатисто, на весь Кудепсту.

— Деспина! — сказала она. — Она и меня выгоняла! В восемьдесят девятом! Я у неё жила, когда из Сухуми бежала! Я одну рюмку выпила — она мой чемодан за калитку выставила!

Она подошла ко мне. Обняла. Огромными руками. Как тётя Галя на ростовском рынке.

— Молодец, — сказала тётя Ася мне на ухо. — Не пей. Мой муж пил. Мой брат пил. Мой сын пьёт. Хоть кто-то пусть не пьёт.

Она отпустила меня. Взяла со стола мой стакан с вином. И выпила сама. Залпом.

— За него! — крикнула она. — Я выпила за него! Он не будет! Я за него!

И все засмеялись. И все выпили. И брат Гурама хлопнул меня по плечу. И вечеринка пошла дальше.

А я сел в угол. С лимонадом. И сидел, пока не перестали трястись руки.

Леска не лопнула. В тот раз.

Гурам нашёл меня в полночь. У бассейна. Я сидел на краю, свесив ноги, смотрел на воду, подсвеченную снизу голубыми лампами.

Он сел рядом. Протянул сигарету. Я взял.

— Тяжело? — спросил он.

— Тяжело.

— В ангаре — ящик, — сказал Гурам. — Вино. Ты нашёл?

Я помолчал.

— Нашёл.

— Открывал?

— Открывал. Не пил.

Гурам кивнул.

— Я завтра его заберу, — сказал он. — Отвезу сюда. Из-

вини. Я не подумал.

Мы курили.

— У меня отец пил, — сказал Гурам вдруг. — В Сухуми. До войны. Сильно пил. Бил мать. Бил нас. Потом война. Он пошёл воевать. Пьяный. На второй день его убили. Пьяного. Он даже не понял.

Он выбросил окурок в бассейн. Окурок поплыл, медленно, по голубой воде.

— Я не пью крепкое, — сказал Гурам. — Никогда. Только вино. Только своё. И только на праздник. Потому что боюсь. Что во мне — он.

Он посмотрел на меня.

— Слушай, — сказал он. — В Адлере есть одно место. В подвале. Под храмом. Там по четвергам собираются. Такие, как ты. Мне брат говорил — он ходил. Год. Потом бросил ходить — опять запил. Потом опять пошёл.

— Что за место?

— Анонимные, — сказал Гурам. — Алкоголики. Знаешь?

Я знал. По телевизору видел. В американских фильмах. Люди сидят в кругу на стульях, пьют кофе из пластиковых стаканчиков, говорят: «Меня зовут Джон, я алкоголик». Все хлопают.

Я всегда думал, что это смешно.

— Сходи, — сказал Гурам. — Что тебе терять? Восемьдесят девять дней?

Подвал был под храмом Святой Троицы, в старом Адлере. Небольшой храм, белый, с голубыми куполами. Сбоку — низкая дверь. Ступеньки вниз. Табличка от руки: «Группа АА. Четверг, 19:00. Открытая встреча».

Я стоял у этой двери пятнадцать минут. Под дождём. Как у двери триста двенадцатой в общежитии на Нахичеванском.

Потом спустился.

Подвал был маленький, с низким сводчатым потолком. Беленые стены. Лампа под потолком. Двенадцать стульев в кругу. Стол с электрическим чайником, банкой растворимого кофе, пачкой сахара и пластиковыми стаканчиками. На стене — плакат с какими-то шагами, двенадцать пунктов. И икона — Николай Чудотворец, покровитель моряков.

На стульях сидели восемь человек.

Женщина лет пятидесяти, учительница — я узнал по тому, как она сидела, ровно, сложив руки. Молодой парень с длинными волосами и татуировками на пальцах — музыкант. Мужик в рабочей куртке, с мозолистыми руками, — строитель или докер. Старушка в платке. Двое мужчин в костюмах — бизнесмены или чиновники. Девушка лет двадцати, бледная, с пустыми глазами — я видел такие глаза у Кати Соломиной на кастинге в «Национале».

И в центре круга — мужчина лет пятидесяти пяти. Высокий, сухой, с короткой седой стрижкой. В кожаной лётной куртке, старой, потёртой. С лицом, которое было похоже на лицо Грома — такое же неподвижное. Но глаза — другие.

Живые. Тёплые.

Он увидел меня в дверях. Кивнул на свободный стул.

— Садись, — сказал он. — Кофе — там. Сахар — там. Говорить не обязательно. Можно просто слушать.

Его звали Слава. Вячеслав Андреевич. Бывший военный лётчик. Полковник. Двадцать восемь лет в авиации. Афганистан. Чечня.

В девяносто шестом он разбил вертолёт. Ми-8. Под Грозным. Пьяный. Не сильно — сто граммов перед вылетом, для храбрости, как все. Вертолёт зацепил винтом провода ЛЭП. Упал. Двое погибли. Бортмеханик и солдат-срочник, девятнадцать лет. Слава выжил. Сломал позвоночник, полгода лежал.

— Меня не посадили, — сказал он. Тихо, ровно, глядя в пол. — Списали. Комиссия решила — техническая неисправность. Командир прикрыл. Сказал — у тебя заслуги, ты Герой, не порти себе жизнь. Я и не портил. Я её просто пропил. Шесть лет. До двухтысячного.

Он поднял глаза. Посмотрел на всех. На меня.

— Солдату было девятнадцать, — сказал Слава. — Сашка Морозов. Из Тамбова. У него мать жива. Я к ней ездил. В двухтысячном. Трезвый. Первый раз за шесть лет — трезвый. Сказал ей правду. Что я был пьян. Что это я.

В подвале было тихо. Только дождь стучал где-то наверху, по ступенькам.

— Она меня не ударила, — сказал Слава. — Не прокляла. Налила чаю. Поставила варенье. Сказала: «Сашка вас любил. Он писал — у нас командир экипажа как отец. Живите за него. Не пейте. Это всё, что вы можете для него сделать».

Он замолчал.

— Четыре года, — сказал он. — Четыре года и два месяца. Каждый день. За Сашку.

Потом говорили другие. По очереди. Учительница — про то, как пила в учительской, прятала бутылку в шкафу с журналами, пока её не нашли ученики. Музыкант — про то, как разбил гитару об голову барабанщика и не помнил этого. Строитель — про то, как упал с лесов пьяным и чудом выжил, а напарник — нет. Девушка с пустыми глазами не сказала ничего. Только плакала.

Когда дошла моя очередь, я молчал долго. Все ждали.

Потом я сказал:

— Меня зовут Максим.

И остановился. Дальше нужно было сказать слово. Одно слово. То, которое говорят все в американских фильмах. Которое я всегда считал смешным.

Я сидел на стуле в подвале под храмом в Адлере. Смотрел на икону Николая Чудотворца, покровителя моряков. Думал о Яннисе на фотографии в летней кухне. О Нине на теплоходе. Об отце у ворот колонии. О ступенях Казанского вокзала.

— Меня зовут Максим, — сказал я снова. — Я алкоголик.

Никто не захлопал. Это только в фильмах хлопают.

Просто Слава кивнул. И сказал:

— Здравствуй, Максим.

И все повторили. Хором. Тихо.

— Здравствуй, Максим.

Девушку с пустыми глазами звали Катя.

Я понял это не сразу. Три четверга подряд она сидела в углу подвала, на крайнем стуле, у самой двери. Худая до прозрачности. В мешковатом свитере, хотя в подвале было тепло. С волосами, собранными в небрежный пучок. Не говорила. Только слушала. И плакала — беззвучно, не вытирая слёз.

На четвёртый четверг она заговорила.

Слава кивнул ей, как кивал каждому. Не настаивая. Она долго молчала. Потом подняла голову.

— Меня зовут Катя, — сказала она. — Я…

И остановилась. Как я на первой встрече.

Я посмотрел на неё. И вдруг — узнал.

Не лицо. Лицо изменилось — запавшие щёки, серая кожа, потрескавшиеся губы. Руки. Пальцы, которые всё время что-то теребили — край свитера, ремешок сумки, браслет. И ногти. Обкусанные до мяса.

Банкетный зал «Националя». Март две тысячи первого. Сорок девушек на позолоченных стульях. Немецкий автоконцерн. «Славянская красота, европейская сдержанность».

Блондинка, которая понравилась немцам. С ногтями, обкусанными под лаком.

Катя Соломина. Агентство «Пойнт». Мать которой звонила Ирме и плакала.

«Она на таблетках. Американских. На которых сердце останавливается».

— Меня зовут Катя, — повторила она. — Я наркоманка. И алкоголичка. Девяносто четыре дня.

В подвале было тихо.

— Я была моделью, — сказала Катя. — В Москве. Шесть лет назад. Я была красивая. Правда. Сейчас не поверите. Меня брали на всё. Немцы, французы, итальянцы. Я весила сорок восемь килограммов при росте метр восемьдесят. Мне говорили — надо сорок пять. Я пила таблетки. Американские. Для похудения. Потом — другие таблетки. Чтобы спать. Потом — третьи. Чтобы не спать. Потом — водку. Чтобы не думать, сколько я выпила таблеток.

Она смотрела в пол.

— В две тысячи втором у меня остановилось сердце, — сказала она. — На показе. В Милане. За кулисами. Меня откачали. Агентство разорвало контракт. Мама забрала домой. В Адлер. Мама у меня отсюда. Я пила дома два года. Потом мама умерла. От меня. Я знаю. Врачи сказали — инфаркт. Но я знаю — от меня.

Она подняла глаза. Обвела взглядом подвал.

И увидела меня.

Я видел, как она меня узнала. Не по лицу — по глазам. Как Димка потом. Как все.

— Вы, — сказала Катя. — Вы были на кастинге. В «Национале». Вы сидели у двери. Вы смотрели на всех. И на меня.

Все в подвале повернулись ко мне.

— Был, — сказал я.

Катя смотрела на меня. Долго.

— Мне потом рассказали, — сказала она тихо. — Девочки из «Орбиты». Что у Ирмы Вольской был мальчик, который видел насквозь. Что он про всех сказал. Кто сорвётся. Кто нет. И что он про меня сказал — сорвётся. Через месяц.

Она помолчала.

— Вы ошиблись, — сказала Катя. — Не через месяц. Через год.

После встречи я ждал её у выхода. Под дождём. У низкой двери в подвал.

Она вышла последней. Увидела меня. Остановилась.

— Катя, — сказал я. — Я хочу сказать.

— Не надо, — сказала она. — Вы не виноваты. Вы просто сказали правду. Ирме. Ирма позвонила немцам. Немцы меня не взяли. Я обиделась. Разозлилась. Поехала в Милан с другим агентством. Назло. Чтобы доказать.

Она засмеялась. Хрипло.

— Доказала, — сказала Катя. — Сердце остановилось.

Я стоял под дождём.

— Я тогда видел, — сказал я. — По рукам. По ногтям. Я видел, что ты на чём-то. Я сказал Ирме. И всё. Больше ничего не сделал. Я не подошёл к тебе. Не сказал тебе. Я сказал про тебя. Не тебе.

Катя смотрела на меня.

— Это разное, — сказал я. — Сказать про человека — и сказать человеку. Я тогда этого не понимал. Я думал, моя работа — видеть. А что дальше — не моё дело.

Катя долго молчала. Дождь стекал по её лицу. Или не дождь.

— А сейчас? — спросила она.

— А сейчас — скажу тебе, — сказал я. — Девяносто четыре дня — это много. Я знаю. У меня сто тринадцать. Ты дойдёшь до ста. Потом до года. Я вижу.

Она засмеялась. Сквозь слёзы.

— Видите, — сказала Катя. — Опять видите.

— Опять, — сказал я. — Только теперь — говорю тебе. Не про тебя.

Она шагнула ко мне. И обняла. Быстро. Неловко. Через мокрые куртки.

Потом ушла под дождём. К автобусу.

Через два года, в подвале под храмом Святой Троицы, Слава вручил ей медальон с цифрой «II». Я хлопал громче всех. Хотя у нас не хлопают.

Она работает теперь в Краснодаре. В реабилитационном

центре. С девочками, которые пьют таблетки для похудения.

Она им говорит. Не про них. Им.

А ещё до этого, двадцать шестого ноября, был мой сотый день.

Я пошёл на почту утром. Отправил телеграмму. В Ростов. На Нахичевань, Тридцать девятая линия. Одно слово:

«СОТЫЙ».

Ответ пришёл в тот же вечер. Деспина Николаевна принесла его мне в летнюю кухню. Телеграфный бланк, наклеенные полоски с буквами. Тоже одно слово. Без подписи.

Но я знал, от кого. Потому что это слово мог написать только один человек.

«КЛЮЁТ».

Деспина Николаевна смотрела на меня, пока я читал.

— Хорошее? — спросила она.

— Хорошее.

— Сотый? — спросила она. Она тоже считала. Я знал.

— Сотый.

Деспина Николаевна долго смотрела на меня. Потом подошла к стене. К фотографии Янниса в тельняшке. Сняла её с гвоздя.

Подержала в руках.

— Он не дошёл до сотого, — сказала она. — Ни разу.

Она повесила фотографию обратно. Аккуратно. Поправила.

— Ты дошёл, — сказала Деспина Николаевна. — Значит, можно.

И ушла в дом.

Я не понял тогда, что значит «можно». Понял через два года. Когда она умерла. И оставила мне баркас Янниса.

Но это — потом.

Глава 6. Новый год у Деспины

Четырнадцатого декабря Деспина Николаевна не вышла к завтраку.

Я постучал в дом. Никто не ответил. Я испугался — семьдесят два года, сердце, Клавдия Ивановна тоже ушла во сне, в одно утро. Обошёл дом. Заглянул в окна. Пусто.

Аристотель, рыжий кот, сидел на калитке. Смотрел в сторону моря.

Я пошёл туда, куда он смотрел.

Она стояла у самой воды. В чёрном пальто, в чёрном платке. Шторм только кончился, море было ещё неспокойное, серое, волны с грохотом накатывали на гальку и откатывались, утаскивая камни. Брызги долетали до её ног. Она не отходила.

В руках у неё были цветы. Белые хризантемы. Как те, что я когда-то украл с клумбы у драмтеатра в Ростове.

Я остановился в стороне. Не подходил.

Деспина Николаевна стояла долго. Минут двадцать. Смотрела на море. Губы шевелились — молилась или говорила с кем-то. Потом наклонилась и положила хризантемы на воду. Одну за другой. Волна подхватила их, понесла, вернула на гальку, снова унесла. На пятый раз — унесла совсем.

Деспина Николаевна перекрестилась. Повернулась. Увидела меня.

Не удивилась.

— Восемнадцать лет, — сказала она, проходя мимо. — Каждый год. Четырнадцатого декабря.

И пошла к дому. Я шёл рядом. Молча.

У калитки она остановилась.

— Он пошёл в шесть утра, — сказала Деспина Николаевна. — Я проснулась, когда хлопнула калитка. Хотела крикнуть — не ходи. Не крикнула. Думала — он всё равно не послушает. Сорок лет не слушал. Повернулась на другой бок и уснула.

Она посмотрела на море.

— Если бы крикнула, — сказала она, — может, послушал бы. Один раз. Последний.

Новый год в доме Деспины Николаевны готовили неделю.

Понтийские греки встречают Новый год не так, как русские. У них главный праздник — не первое января, а день святого Василия. Василопита — пирог святого Василия. Его пекут тридцать первого, а режут в полночь. В пирог запекают монету. Кому достанется — тому весь год будет удача.

Деспина Николаевна пекла пирог два дня. Тесто — дрожжевое, сдобное, с апельсиновой цедрой и молотым махлебом — это такие косточки вишни, она хранила их в жестяной банке из-под чая с шестьдесят второго года. Сверху — миндаль, выложенный цифрами: «2005». Внутри — монета. Старая, серебряная, царская. Её прабабушка привезла из

Трапезунда сто лет назад.

— Эту монету, — сказала Деспина Николаевна, — получил Яннис. В восемьдесят шестом. В последний Новый год. Он смеялся — говорил, теперь весь год удача. Через одиннадцать месяцев ушёл в море.

Она завернула монету в фольгу. Положила в тесто.

— Удача — она не так работает, как люди думают, — сказала она. — Люди думают, удача — это когда хорошо. А удача — это когда ты успел. Сказать. Сделать. Вернуться. Яннис не успел. Значит, не удача у него была.

Тридцать первого вечером пришли гости.

Тётя Ася — с тазом оливье и тремя бутылками вина, которые Деспина Николаевна сразу унесла в сарай. Гурам — с шашлыком и сыном Давидом, восьми лет, весёлым, кудрявым, похожим на маленького Гурама без шрама. Бим — вернулся из Краснодара на праздники, с удочкой и гитарой. Слава из подвала — я позвал его, он пришёл в лётной куртке, с мандаринами и коробкой конфет «Красная шапочка». Соседка Деспины, старая армянка Ануш, с долмой.

Семь человек. Плюс два кота. Плюс Яннис на фотографии, которую Деспина Николаевна перенесла из летней кухни в дом и поставила на стол, у иконы.

Стол был маленький, круглый, накрытый белой скатертью с вышивкой. Вино стояло на краю — для гостей. Рядом — графин с компотом. Для меня. И для Славы.

Мы со Славой переглянулись через стол. Он кивнул. Едва заметно. Я кивнул в ответ.

Это было хорошо. Сидеть за столом с вином и знать, что напротив — тот, кто тоже не будет пить.

Тосты были на трёх языках. Тётя Ася — по-армянски, длинно, со слезами, про Сухуми. Гурам — по-грузински, громко, про маму. Деспина Николаевна — по-гречески, тихо, про Янниса. Бим — по-русски, смешно, про то, как однажды в цирке медведь съел его клоунский нос.

Слава встал последним. Поднял стакан с компотом.

— Я пятый Новый год встречаю трезвым, — сказал он. — Первые четыре — один. Дома. С телевизором. Этот — с людьми.

Он посмотрел на меня.

— Спасибо, что позвал, — сказал Слава. — Одному трезвым тяжело. Вдвоём — легче. Это я в подвале понял. Не сразу.

Он выпил компот.

Все выпили. Я — тоже. Компот. Вишнёвый. Деспина Николаевна варила сама.

Слава сел. Тётя Ася вытерла глаза. Гурам хлопнул Славу по плечу. Бим тронул гитару.

И я подумал — первый раз за этот вечер — что у меня есть люди.

Не как в Москве, когда вокруг было двести человек на

вечеринке «Офисьеля», и никто тебя не знал. Не как в Ростове, когда был только Гоша. А вот так. Семь человек за круглым столом. Гречанка, армянка, грузино-армянин, клоун, лётчик, соседка, восьмилетний мальчик. И два кота.

Люди, которые знали, что я алкоголик, — и всё равно позвали меня за стол.

В одиннадцать сорок пять зазвонил телефон.

У Деспины Николаевны был старый дисковый аппарат, чёрный, на тумбочке в коридоре. Она подняла трубку. Послушала. Протянула мне.

— Тебя. Ростов.

Я взял трубку.

— Макс!!! — заорал Гоша так, что Деспина Николаевна в коридоре вздрогнула. — С Новым годом!!! Ты трезвый???

— Трезвый, Гоша. Сто тридцать пятый.

— Сто тридцать пятый!!! — Гоша отвернулся от трубки и закричал куда-то назад: — Анаит! Сто тридцать пятый! — Потом снова в трубку: — Анаит говорит — молодец! Тёща говорит — молодец! Максимка говорит — кися! Подожди, тут ещё…

Шум, голоса, смех. Кто-то забрал трубку.

— Ветров, — сказал низкий, хриплый голос.

— Ирма.

— Мы у Гоши, — сказала Ирма. — Все. Анаит позвала. Тётя Сирануш приехала из Еревана. Рафик. Ашот. Тётя Га-

ля с мужем — он, кстати, бросил пить, ты знаешь? Третий месяц. Говорит, ты его вдохновил. Через Гошу.

Я засмеялся.

— А ты как? — спросила Ирма.

— Сижу за столом. С гречанкой, клоуном и лётчиком. Пью компот.

Пауза. Я слышал, как она затягивается.

— Хорошая компания, — сказала Ирма. — Лучше, чем на Рублёвке.

— Лучше.

Она помолчала.

— Тут ещё один человек хочет сказать, — сказала она. — Он не любит телефон. Но хочет.

Опять шум. Пауза. Тишина.

Потом голос. Сухой, тихий, с армянским акцентом.

— С Новым годом, сынок, — сказал Арсен.

Я стоял в коридоре старого греческого дома в Адлере, с чёрной трубкой у уха. За стеной Бим играл на гитаре, тётя Ася пела, Гурам хлопал в ладоши.

И не мог ничего сказать.

— Клюёт? — спросил Арсен.

— Зимой не клюёт, — сказал я, когда смог. — Кефаль на глубину ушла.

— Это ничего, — сказал Арсен. — Весной вернётся. Главное — сиди. Не уходи с мола.

— Не уйду.

— Ирина передаёт привет, — сказал он. — И я. И вот ещё что. Я на льду теперь. Как тогда. Под Старочеркасской. Только теперь со мной она. Сидим, ждём. Я ей сказал — помнишь, ты меня на льду обманул, сынок? Глаз не отвёл. Она смеётся. Говорит — он и меня так обманывал. Каждый день. По три секунды.

Я засмеялся. И заплакал одновременно.

— Не плачь, — сказал Арсен. — Мужчины на Новый год не плачут. Только армяне. Ты не армянин.

— Я крёстный армянина.

Арсен помолчал.

— Значит, можно, — сказал он. — Немножко.

И повесил трубку.

В полночь Деспина Николаевна резала пирог.

По обычаю — первый кусок святому Василию. Второй — дому. Третий — бедным. Потом — по старшинству. Ей. Тёте Асе. Ануш. Биму. Славе. Гураму. Мне. Давиду. Последний кусок — Яннису. Его положили на тарелку у фотографии.

Каждый разломил свой кусок. Искали монету.

У Деспины — нет. У тёти Аси — нет. У Бима — нет. У Славы — нет. У Гурама — нет. У Давида — нет, он расстроился до слёз, Гурам обещал ему купить велосипед.

Я разломил свой кусок.

В тесте блеснула фольга.

Я развернул её. На ладони лежала монета. Серебряная,

потемневшая. Царская. Николай Второй в профиль. Из Трапезунда. Сто лет.

В комнате стало тихо.

Деспина Николаевна смотрела на монету у меня на ладони. Долго. Потом подняла глаза на меня.

— Восемнадцать лет, — сказала она. — Восемнадцать лет я пеку пирог. И кладу монету. И восемнадцать лет она мне достаётся. Или моим гостям. Чужим. Которые приходят на один вечер и уходят.

Она подошла ко мне. Взяла мою руку с монетой. Сжала мои пальцы вокруг неё.

— А сейчас — тебе, — сказала она. — Не случайно. Я не верю в случайно. Это Яннис. Он решил.

— Что решил?

Деспина Николаевна долго смотрела на меня светлыми глазами.

— Что ты успеешь, — сказала она. — То, что он не успел. Сказать. Сделать. Вернуться.

Гости разошлись в три. Слава ушёл последним — помогал мыть посуду. На пороге пожал мне руку. Крепко, по-лётчицки.

— Сто тридцать шестой, — сказал он. — С Новым годом, Максим. Четверг — не забудь.

— Не забуду.

Он ушёл в темноту, в лётной куртке, под мелким тёплым

дождём.

Деспина Николаевна позвала меня в дом. Открыла старый сундук в спальне. Деревянный, кованый, привезённый, как она сказала, ещё из Казахстана. Достала свёрток.

Свитер. Толстый, шерстяной, тёмно-синий. Рыбацкий, с высоким горлом, вязаный косами. Потёртый на локтях. Пахнущий нафталином и — чуть-чуть, совсем немного — морем и табаком.

— Яннис, — сказала она. — Его. Я вязала в семьдесят девятом. Он в нём в море ходил. В тот день — не надел. Жарко, сказал. Декабрь, а ему жарко. Пил накануне. Кровь горела.

Она протянула мне свитер.

— Носи. Зимой на моле холодно. Ветер. Он тебя согреет. Он хороший был. Только пил.

Я взял свитер. Надел. Он был мне чуть велик в плечах — Яннис был крупнее. Но длина — точно. Как будто вязали на меня.

Деспина Николаевна посмотрела на меня в свитере. И я увидел, как у неё дрогнул подбородок. Впервые за четыре месяца.

— Иди спать, — сказала она. — Утром в храм. Первое января. Яннису свечку поставим. И тебе — за сто тридцать шесть.

Я лёг в летней кухне в свитере Янниса. Монета лежала на столе, рядом с конвертом с одной фразой и медведем с

голубым бантом.

Маршал спал у меня в ногах. Не на подоконнике — в ногах. Первый раз.

За окном шёл дождь. Море шумело ровно, спокойно, после шторма.

Я думал о том, что у меня есть монета на удачу. Что удача — это когда успел. Что Деспина Николаевна не крикнула восемнадцать лет назад. Что Наталья Сергеевна сказала «ошиблись номером». Что Арсен двадцать три года ставил второй стульчик.

И что я не знаю, куда и когда мне нужно успеть.

Но монета лежала на столе. Серебряная. Сто лет.

Значит — когда-нибудь узнаю.

Глава 7. Красная Поляна

В январе Гурам отправил меня в горы.

— У двоюродного брата прокат, — сказал он. — Лыжи, сноуборды, ботинки. В Красной Поляне. Зимой там сезон, как у нас летом. Ему человек нужен. Продавать умеет, моторы чинит, не пьёт. Ты.

— А склад? Лежаки?

— Лежаки подождут, — сказал Гурам. — Они деревянные. Им всё равно. А тебе в ангаре одному — нельзя. Я видел, как ты на ящик смотрел.

Он знал. Он всё знал. Как Арсен. Как Ирма. Почему-то люди, которые знали обо мне всё, всегда оказывались рядом в нужный момент.

Красная Поляна в две тысячи пятом была деревней.

Не курортом, как через десять лет, когда к Олимпиаде её перестроят в стекло и бетон. Деревней. Старой, эстонской — её основали эстонские переселенцы в девятнадцатом веке. Деревянные дома с резными наличниками. Сады с хурмой и грецкими орехами. Козы на улицах. Речка Мзымта — бирюзовая, ледяная, бешеная — грохочет по камням. И горы. Со всех сторон. Белые, острые, огромные. Как будто кто-то поставил вокруг деревни стены из облаков.

Канатная дорога была одна. Старая, советская, «Альпи-

ка-Сервис». Кресельная, на двоих, без защиты от ветра. Поднималась медленно, скрипела, раскачивалась. Наверху — склоны. Немного трасс, немного людей. Москвичи с дорогими лыжами, местные мальчишки на самодельных санках, пара иностранцев, которые не понимали, куда попали.

Прокат брата Гурама, Левана, стоял у нижней станции канатки. Деревянный сарай с вывеской «ПРОКАТ ЛЫЖ. LEVAN. SKI RENT». Внутри — стеллажи с лыжами, ботинками, палками, шлемами. Пахло воском, мокрой шерстью и мандаринами — Леван ел их килограммами.

Леван оказался полной противоположностью Гурама. Тихий, худой, в очках, бывший учитель физики из Гагры. Ещё один бывший учитель. Я начинал думать, что учителя — главная рабочая сила постсоветского юга.

— Ты продавать умеешь? — спросил Леван тихо.

— Умею.

— А кататься?

— Нет. Никогда не стоял на лыжах.

Леван снял очки. Протёр. Надел.

— Плохо, — сказал он. — Как продавать то, чего не знаешь? Надо научиться. Я договорюсь с инструктором.

Инструктора звали Лена.

Она пришла в прокат на следующее утро, в восемь, когда я раскладывал на прилавке ботинки. Распахнула дверь, впустив снег и ветер. Остановилась на пороге.

Невысокая. Крепкая. В красном горнолыжном костюме, потёртом, видавшем виды. Короткие тёмные волосы, торчащие из-под шапки. Лицо обветренное, загорелое — зимним загаром, только вокруг глаз белые круги от маски. Нос облупленный. Глаза — карие, насмешливые, быстрые.

Она посмотрела на меня. Три секунды.

И я увидел, что она меня читает. Так же, как я её. Не так умело, как Ирма, — по-другому. По-спортивному. Как читают соперника на старте.

— Это ты, что ли, москвич? — спросила она.

— Я ростовский.

— Леван сказал — москвич.

— Я в Москве три года жил. Но я ростовский.

Она подошла к прилавку. Посмотрела на мои руки. На шрам. На свитер Янниса.

— Ты на меня смотришь, как будто покупаешь, — сказала она. — Перестань. Я не продаюсь. Я учу. Двести рублей в час. Леван платит. Ты — учишься. Всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.